



И. С. ЛУКАШ



Иван Созонтович Лукаш
Дерпт
Серия «Со старинной полки»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2454705

Аннотация

«Багряница кленов. Клены шуршат, как в Петербурге. Я подобрал листок, на вкус кисловатый, прохладный, на длинном стебельке, у которого в конце как бы крошечное козье копытце. Кленовые листья, желтоватые по краям и пунцовые у стеблей, напоминают стылую зарю, румяное зимнее небо.

Так уже было, только я был иным...»

Иван Созонтович Лукаш

Дерпт

Давно б на дерптскую дорогу

Я вышел утренней порой...

Пушкин

Багряница кленов. Клены шуршат, как в Петербурге. Я подобрал листок, на вкус кисловатый, прохладный, на длинном стебельке, у которого в конце как бы крошечное козье копытце. Кленовые листья, желтоватые по краям и пунцовые у стеблей, напоминают стылую зарю, румяное зимнее небо.

Так уже было, только я был иным, когда у Румянцевского сквера в Петербурге, в прозрачный день осени я подбирал с гранита набережной кленовые листья, и печально шуршали их кавалькады в университетском саду. Осенью осыпался Петербург в багряницах.

Сквозящая ясность осеннего дня так легка, что кажешься себе сквозным, как холодный день между деревьев, как облетающая аллея, по которой я иду.

Странно, точно во сне: на аллее стоит памятник, низкий саркофаг из серого гранита, усыпанный красными листьями. К саркофагу привинчена круглая медная доска, потемневшая от плесени, и едва заметны на ней царапины старинных русских букв:

«Здесь покоятся кости разных народов

от XII до XIII века.

Дерпт предал их земле.

На гробах их воздвигнул Александр

Новое обиталище муз.

Им посвящено сие место покоя!

Не странно ли выбирать город героем рассказа? Но в этот осенний день Дерпт показался мне романтическим героем, правда, состаревшим, забвенным, но тот же на нем романтический синий плащ, пусть тронутый ржавчиной и с прорехами, та же рапира и шапочка с кистью.

Как будто на обширном дворе богадельни, когда по серым

булыжникам метет бурые листья, увидел я дряхлого старика в заплатанном халате и в стоптанных туфлях, озябшего, с трясущимися руками и с острыми коленями, неряшливо засыпанными табачными крошками, а в его чертах, в его слезящихся и уже бессмысленных глазах, в путанице его морщин смутно стал узнавать когда-то прекрасное и молодое лицо.

Дерпт, полуиностронец и незнакомец в дорожном плаще, не то бродячий студент, не то таинственный поэт с толпою туманных мечтаний и сновидений, со стуком пенящихся чаш и застольными песнями, стал спутником ранних русских романтиков.

Странно-светло и странно-трогательно любили его Карамзин и Жуковский, Дельвиг, Гоголь и Пушкин. Пушкин писал в Дерпт Языкову:

Давно б на дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой.

Маленький город в глухой Эстонии, но шелест его романтического плаща и дыхание его застенчивой старины на многих и лучших русских страницах.

Новым обиталищем муз, младостью золотой и летучей, утренней порой русской романтики был Дерпт, этот студент-полуемец, в синем плаще, и есть нечто общее в его образе с пушкинским образом милого Кюхли, вдохновенного

романтика Кюхельбекера.

Он так и остался полуиностранцем и незнакомцем, он давно померк в грустном забвении, одряхлел, и уже не помнит, не знает, какого прекрасного плаща на нем истлевшие лохмотья.

Точно и впрямь увидел потомок всеми забытого Кюхельбекера в затрапезном халате, с вылезшими клочьями ржавой ваты, пережившего свои времена и друзей, и сердце потомка защемило от жалости...

Торжественно осыпается кленовая аллея. Далеко видна розоватая, легко раскинутая арка. На арке в медальоне есть потресканный портрет пожилого кавалера в екатерининском кафтане и в пудре. Это портрет первого ректора Дерптского университета Паррота и эта арка – «дней Александровых прекрасного начала».

Она ведет в город, на тесную Замковую улицу. Компанейская, Рыцарская, Иоанновская – как бы звенят старинные имена, и старинный булыжник звенит под шагами.

Позеленевшие черепицы крыш, крошечные оконницы под чердаками, с дрожащими от ветхости стеклами, где надувает ветер кисейные занавески, брюхатый и осевший на улицу угол дома, тот самый угол, который уже три, а то и четыре века в урочный час освещает солнце, и та же осень вечных солнечных часов падает от него на истертую мостовую, тишина узких проулков, потерявших память о сроках и временах...

Под глухой подворотней, над которой опущена цепь чугунного китайского фонаря, давно не зажигаемого и с разбитыми стеклами, до ночи, может быть, тайлся дерптский студент Языков.

Когда северное небо бледно светилось над уснувшим городком и кричали спросонок на постоялом дворе первые пехухи, Языков выходил из подворотни, смотрел на верхнее окно и, откинувши плащ, едва, может быть, трогал гитару и пел кому-то романс.

В дороге, на перекладных, в невылазанных русских грязях, когда от невыносимой скуки хочется тоненько петь или скульпить, нацарапал его на приключившихся листках озябший под дождем Пушкин:

Вот вошла луна золотая.

Слышу – чу – гитары звон...

Верхнее окно отворялось бесшумно, и кто-то слушал молодой голос певца и звон его гитары, а стекло, отражающее бледное небо, тряслось от ветхости, как и теперь... Так начинался наш бледный русский романтизм.

Я дошел до площади. Там есть высокая Ратуша в гербах и белых гирляндах рококо, точно пудренная кокетка в тяжелых робронах, застывшая в жеманном пируэте.

Такая, правда, танцующая Ратуша в Юрьеве, над булыжниками площади, где носит ветер ключья сена, а кругом тес-

нятся ветхие дома под красными черепицами и среди них – белые колонки русского ампира, светлые, радостные, как стайки богинь, замерших на бегу.

Площадь скатывается к реке широкой панорамой. На реке пузатые барки и мост с двумя гранитными башнями.

Как Чернышев мост в Петербурге, те же башни на ржавых цепях, те же быки. Едва можно прочесть на черной доске, вделанной в башню, сжатые немецкие буквы, да вряд ли их кто-нибудь читает:

Штром и Цалке

по указу Екатерины II

построили сей мост для нужд страны.

Ночью уходит мой поезд, а желтая заря уже засветилась в верхних стеклах, я, торопящийся путник, случайно забрел в сие место покоя, в сие обиталище муз, и точно движется предо мною мимолетный сон.

Белая колоннада Университета, а перед парадными крыльцами Медицинского музея глухая поляна. В росе пожухлая трава. Тут как в старинном Петербурге, где выгоняли

гусей на зеленый луг перед Академией художеств. Университетская провинция. Тишина. Косая череда птиц летит на закат, рдеют над заборами рябины.

Я вышел на ухабистую пустую площадь, к реке.

Есть грустная пора в северном вечере, когда в пустоте замирают улицы, не слышно ни звука, ни голоса, и долго не погасает желтая заря в окнах домов, которые кажутся нежилыми или покинутыми.

В такой час я сидел на скамье, в крошечном сквере, на той ухабистой площади.

Влажный песок усыпан красноватыми листьями. Они кружатся в луже и похожи на детские кораблики.

В том саду, под кленами, есть тяжелый медный бюст. Он почернел и в зеленоватых подтеках.

Я смотрел со своей скамьи на жесткие завитки медных волос, на острый нос со светящимся от зари кончиком. Пунцовый лист покружился и пал на сырую, темную голову монумента, лысого старика, который смотрит покатыми и слепыми глазами на провинциальную площадь. Я поднялся со скамьи и подошел к цоколю, там я увидел мокрые от росы римские шлемы, короткие мечи, литые лавры, а на щите русские буквы:

Генерал-фельдмаршалу

КНЯЗЮ

Барклаю де Толли.

Незабвенному полководцу от войск,

под начальством его состоявших,

в память военных подвигов 12, 13 и 14 годов.

Сооружен в 1848 году.

Кругом не было никого в том сквере, похожем на запущенную усыпальницу, укутанную листопадом, я поднялся на гранитную ступеньку и тронул кованую фельдмаршальскую

ленту, кованые боевые регалии. Они были холодные и в росе.

Сие место покоя... Прохладный дым осени, седая роса, облетелые клены... В том саду, на скамье у памятника фельдмаршалу, я думал о моем брате, который был дерптским студентом. Конечно, вот тут, именно тут, у темного Баркляя, шуршали на влажном песке его шаги. Незабвенный... Забвенный... Его ушедшие шаги.

Все ушедшие. Барклай де Толли, и Языков, и Пушкин, и эта арматура с римскими шлемами, Петербург и Россия, и мой брат, все – тени, облака, осенний дым. Никого нет. Боже мой, какое одиночество.

Я торопился на вокзал, я бежал из Юрьева.

С детства, как помню себя, я любил печальный шорох листьев под ногами, их мудрый и таинственный шепот. Я шел за листьями, которые мелись передо мною, и так странно, точно во сне, увидел в каком-то окне русские книги.

Старый дом, а в нем русская книжная лавка. Я вошел туда. Теплый покой, уют многих книг, стеклянная горка в углу, очень старинное и очень потрепанное вольтеровское кресло, такая же конторка, только недостает еще гусяного пера, и словно очутился я в книжной лавке самого Смирдина.

Из-за ситцевой занавески ко мне ступил хозяин лавки, господин Чумилин. Седой, как лунь, покойный и уютный, как его книги, он похож на московского профессора старых времен, а его золотые очки – в полустеклышки, лунками. Он часто подымал свои лунки на лоб, и к его голубым глазам

сбегались лукавые морщинки.

На книжных листах светилась желтая заря, когда мы рассматривали его редкости у дверей лавки. Тут был «Ключ к таинствам природы» новиковских времен, были тут и царско-сельские досуги Жуковского, его журнал «Муравейник», тихие шутки гувернера-поэта и его воспитанника Александра П, была тут и тоненькая серая книжка тридцатых годов с нежной рамкой на заглавном листе «Евгений Онегин» и с надписью Пушкина на пожелтевшей странице: «На память Сомову»...

А в Юрьевском русском собрании, куда зазвал меня до поезда книгопродавец, в дружном гуле голосов, в облаках табачного дыма, увидел я против себя за круглым столом живых Карамзина и Булгарина.

Правнук Карамзина, в поношенной офицерской гимнастерке, черноволосый, смуглый и тихий человек, с горящими глазами, жил тогда в Юрьеве, а потомок прыткого Фаддея, бывлой драгун, с полнокровным татарским лицом, громким смехом, кучей анекдотов и каламбурами, и теперь живет под Юрьевом, в усадьбе.

Кто-то рассказывал мне, что в той же Эстонии правнуку Пушкина довелось быть пастушонком... Так кончился наш бедный русский романтизм.

Юрьевские встречи, видения... Точно на самом деле встретил потомок на дворе богадельни Кюхельбекера и узнал его изветшалый синий плащ, и увидел, что в неживых

глазах старика – пустота небытия и забвения.